

ПРОЗА РУССКИХ ПИСАТЕЛЬНИЦ XIX ВЕКА

ЮЛИЯ ЖАДОВСКАЯ
В СТОРОНЕ
ОТ БОЛЬШОГО
СВЕТА

Девичьи
грезы
в старинной
усадьбе



Юлия Валериановна Жадовская

В стороне от большого света

Серия «Из жизни благородных девиц»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=73951452

В стороне от большого света. роман: Издательство АЗБУКА; Москва;
2026

ISBN 978-5-389-33235-5

Аннотация

Юная Генечка живет со своей престарелой тетушкой в тихой уединенной усадьбе. К ним редко приезжают гости, и все их общество – такие же одинокие соседи.

Генечка любит бродить по темным аллеям, читать книги да грезить о жизни в большом городе. Она мечтает о приключениях, выдумывает игры и совсем не печалится однообразием дней.

Когда тетушка наконец-то собирается отправить ее в губернский город, Генечка понимает, что она слишком привязана к этому дому. Но впереди ее ждет новая жизнь, где все ее будут называть Евгенией, обращаться к ней на «вы» и не считаться с ее чувствами.

Жизнь, в которой Генечке предстоит бороться за собственное счастье.

Содержание

Часть первая	6
I	6
II	39
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Юлия Жадовская
В стороне от
большого света

© ООО «Издательство АЗБУКА», 2026

* * *

ИЗ ЖИЗНИ
БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ

Юлия
ЖАДОВСКАЯ



В СТОРОНЕ
ОТ БОЛЬШОГО
СВЕТА



Fiction

Москва

Часть первая

I

Мне не было еще двух лет, когда я лишилась матери. Отец мой вскоре женился на другой и через год умер, не оставив мне никакого состояния. Небольшое имение моей матери было еще при жизни его продано за долги. Мачеха моя имела, как я слышала от тетушки, хорошее состояние, но после смерти моего отца уехала за границу, где и осталась навсегда, выйдя замуж за какого-то доктора, француза.

Незадолго до смерти мать моя вручила меня старшей нежно любимой сестре своей, которая и взяла меня к себе, как только матушка скончалась. Тетушка моя была старушка лет шестидесяти; она была девица, но в ней вы не заметили бы и тени тех недостатков, которые обыкновенно приписывают старым девушкам; она была добра и кротка; лицо ее носило до старости следы красоты, некогда замечательной. Может быть, это было одною из причин, что характер ее не испортился, не очерствел; ее не раздражала мысль, что она будто обижена, обойдена за какой-нибудь резкий недостаток в наружности. В молодости она имела много обожателей, но была влюблена однажды, на всю жизнь. Родители и слышать не хотели о браке ее с этим человеком и никакие средства не

считали непозволительными для того, чтобы разлучить их, и успели в этом. Эту эпоху своей молодости тетушка называла «романом своей жизни». Она до старости сохранила в душе чувствительность, заливалась слезами над произведениями Августа Лафонтена и других чувствительных писателей и с трепетом следила за ужасами «Удольфских тайнств». Но эта чувствительность не распространялась у нее на все без разбора, к стати и некстати. В практической жизни тетушка была добрая хозяйка, любившая хорошо покушать и напиться кофею поутру. Она не была тем, что называют образованною, и не имела на это никаких видимых претензий; воспитываясь у своей бабушки, она одна из всего семейства не знала французского языка, но во многих случаях обнаруживала ум ясный и практический. Она не любила задавать тон, то есть казаться выше того, что есть, но любила, чтобы все у нее было хорошо, чтобы соседка, уезжая с ее обеда, говорила: «Какой прекрасный стол у Авдотьи Петровны! Когда ни заезжай, голодна не будешь...»

Как теперь гляжу на эту добрую старушку: темный капот и белая косынка на голове, повязанная «маленькой головкой», составляли ее будничный наряд. Чепцов она не любила, потому что они закрывали ей уши и усиливали глухоту, и оттого чепец являлся на ее голове только по воскресеньям или по случаю какого-нибудь редкого визита дальнейшей богатой соседки. В воскресенье и праздники тетушка облекалась какою-то торжественностью и особенным достоинством, но

эта торжественность продолжалась только до обеда; после обеда которая-нибудь из соседок говорила: «Что это вы, родная, не изволите снять чепчика?» Тетушка всегда с радостью принимала подобное предложение, и голова ее снова красовалась в белой косынке.

Соседки у нас были поблизости все бедные, у самой богатой считалось не более пяти душ. Некоторые из них были сверстницы тетушки; другие были еще детьми, когда она была молода; но всех их связывали с тетушкой и между собой более или менее общие интересы. Тетушка была между ними как в своей семье. Они искренне любили ее, и тетушка платила им тем же; они разнообразили ее уединенную жизнь и были ходячими газетами нашего края. Посещая окрестных помещиков, они имели возможность узнавать и передавать тетушке, уже много лет никуда не выезжавшей по случаю слабости здоровья, все новости: свадьбы, похороны, продажи и покупки имений, выезды и приезды. Тетушку занимало все это, потому что редкий помещик или помещица не были сыном, внуком, близким родственником ее прежних знакомцев, а кто постарее, то и самим знакомцем. Мужчин в нашем доме не было и духу, горничные исправляли должность лакеев. У соседок мужья были или пьяницы, или уж так необразованны и грубы, что сами дичились тетушки, а иной, живя дурно с женою, знал, что тетушка поглядит на него не совсем ласково. Эти мужья были большею частью причиной всех драматических приключений в нашем

околотке, то есть шуму и драк по праздникам в окрестных деревнях. Из этих господ только один появлялся еще в торжественные праздники в маленькой гостиной тетушки; это был некто Андрей Петрович. Этот Андрей Петрович некогда служил где-то в суде, потом женился на дочери одной из наших соседок и в первые годы супружества безжалостно бил свою жену, которой покровительствовала тетушка; но вдруг он переменялся, стал хорошим хозяином и перестал бить жену. Чудную эту перемену приписывали одному знахарю, к которому тихонько ездила Варвара Степановна посоветоваться о своем горе.

Появление мое в доме тетки принесло ей большую радость. Я была новым звеном, привязывавшим ее к земле. Она теперь имела право, несмотря на свои шестьдесят лет, желать продолжения жизни, потому что эта жизнь нужна была маленькому существу, отданному ее покровительству. Воспитание мое... но у меня не было того, что называется воспитанием. Я не знала гувернанток: тетка терпеть их не могла. Русской грамоте я выучилась еще на пятом году, с пяти лет пристрастилась к чтению и до пятнадцати ничему больше не училась. В то же время я выучилась и писать самым оригинальным образом. Малюткой я копировала сперва печатные буквы, потом стала подражать почерку нескольких старинных писем и бумаг, хранившихся в незапертом сундуке в углу диванной; мне было позволено разбирать их, с тем чтобы, насмотревшись, я снова уложила их в прежнем

порядке. Если удавалось мне написать несколько уродливых строчек, я с восторгом показывала их тетушке, которая иногда замечала, что азы у меня, точно пьяные, покачнулись набок или червь похож на крючок; но тут же целовала меня и прибавляла, что если я буду стараться, то выучусь писать скоро и хорошо.

Я ела с теткой по средам и пятницам постное; вставала с ней к заутрене и вообще восхищала всех тем, что была «как большая». Так как я была слабый, худенький ребенок, то тетка всю зиму держала меня безвыходно в комнате, как говорят, в хлопках, что не мешало мне простужаться и хворать. Тогда заботам и огорчениям доброй тетушки не было конца: поднималась вся домашняя аптека; мне обкладывали голову листьями соленой капусты, поили мятой, и только в крайних случаях давали огуречного рассолу. Тетка не верила докторам, да, правда, в деревне поневоле обходилось дело без доктора: губернский город был за двести с лишком верст, а уездный врач находился большею частью или на следствии, или где-нибудь у помещиков.

В сумерки тетушка сажала меня перед собой на стол, спустя ноги мои к себе на колени, и, погладив меня по голове, начинала рассказывать по моей просьбе сказку. Сперва рассказывала мне о «Хитрой лисице и волке», о «Строевой дочке». С каким наслаждением я слушала тетушку! Однажды тетушка вдруг припомнила сказку из «Тысячи и одной ночи». Купцы, принцы, принцессы, волшебницы потянулись

передо мной пестрою вереницей. Весь вечер я была в каком-то обаянии. Легши в постель, я стала припоминать сказку, и – странное дело! – передо мной явился ряд новых образов, новых приключений, о которых не рассказывала тетушка, но которые родились в моем сильно потрясенном воображении. С этих пор явилась у меня странная способность рассказывать мысленно самой себе сказки, созданные моим же собственным воображением. Сперва это были сказки, после – целые романы. Эта способность, которую нет возможности объяснить тем, кто не имеет ее, была для меня источником невыразимой отрады. Бывало, по целым часам хожу я задумчиво взад и вперед по комнате, и если б был при мне какой-нибудь опытный наблюдатель, то, верно бы, удивился, увидев на детском лице моем то слезы, то радость, то ужас, то испуг. Этих долгих путешествий по комнате не могла не заметить и тетушка; и в самом деле странно было видеть маленькую девочку, расхаживающую с самым глубокомысленным видом. На все вопросы тетушки, о чем думаю, я отвечала неопределенным «так...», и она переставала спрашивать меня, сказав: «Ну, Христос с ней: она что-нибудь да думает».

На девятом году судьба послала мне друга. Рядом с нашей усадьбой находилась усадьба Марьи Ивановны. Имение Марьи Ивановны состояло из десяти душ крестьян и земли, совершенно смежной с тетушкиной, так что дом Марьи Ивановны отделялся от нашего двора только забором и одним углом упирался в тын тетушкиного сада, приютившись та-

ким образом под тень полувековых берез. Марья Ивановна была родственница тетушки и крестница ее, но уже давно не ходила к ней, потому что была за что-то в ссоре с тетушкой. Ссора эта была семейная и не касалась никаких хозяйственных интересов. Марья Ивановна была вдова; у нее было двое детей, сын и дочь; последняя была одних лет со мной. До тех пор Лизу видала я иногда издали, в церкви или, гуляя, сквозь забор садовой решетки. Встречаясь, мы всегда расходились, как посторонние, потому что девушка, провожавшая меня, боялась прогневать тетушку, позволив нам сойтись.

Однажды – помню, это было в Рождество, – мы отправились к обедне; маленькая церковь была полна; за чепцами барынь теснились пестрые платки баб; за ними толкались мужички. Тетушку конвоировали два дворовых человека в синих кафтанах, с помощью которых мы протеснились вперед и заняли должное нам место. Общим движением я была выдвинута и очутилась у самого амвона, рядом с Лизой. Тетушка, видя, что я тут безопасна от толчков, оставила меня.

Я взглянула на Лизу, она на меня, и мы обе тихонько засмеялись, сами не зная чему. Этим знакомство наше было сделано. Сердце мое билось от удовольствия и от какого-то нового для меня чувства. Неодолимая сила тянула меня к Лизе, мне хотелось обнять и расцеловать ее, но я была слишком «умное» дитя и удержалась от такого порыва. Мы довольствовались взглядами и улыбками; мы даже тихонько проговорили друг другу несколько слов. После обедни мне

дали целую просфору; этим преимуществом пользовалась я всегда, потому что тетка давала муку на просфоры и вообще считалась старшею и богатою прихожанкой. Просфора эта была для меня очень приятным даянием: обедня кончилась поздно, а тетушка никогда не пила чай до обедни и мне не давала, и я, бывало, порядочно проголодаюсь.

Я предложила Лизе половину просфоры...

– Кушайте, – сказала она мне, – я не хочу.

– Мне много, я не съем всего.

Лиза взяла и поблагодарила меня. Между тем соседки обступили тетку и с торжеством говорили, указывая на меня:

– Посмотрите, какой ангел, какая доброта! Взгляните на них, что за парочка!

– Пойдемте здороваться с тетушкой, – шепнула я Лизе.

– Я не знаю, как маменька, – робко отвечала она.

– Ничего, ступай! – сказала стоявшая за нами Марья Ивановна, которая давно искала случая помириться с тетушкой.

Тетушка поздоровалась с Лизой благосклонно, думая, что та подошла к ней единственно по влечению сердца. Вслед за дочерью подошла к тетке и Марья Ивановна. Тут совершилось между ними примирение без слов, без объяснений. Тетушка пригласила Марью Ивановну обедать, и с Лизой. О, каким это было для меня праздником!

С этого времени Лизе позволено было приходить ко мне каждый день, и скоро мы сделались почти неразлучны. Лиза была красивая девочка, с темными волосами, больши-

ми серыми глазами и черными тонкими бровями; большой нос только придавал ей серьезное выражение. Она была суха и скрытна в обращении. Доверенность ее приобреталась не скоро. В домашней жизни ее матери были какие-то таинственные для меня темные пятна, и потому, отпуская Лизу ко мне, она старалась внушить ей недоверчивость; она знала, что это лучшее средство сделать ее скромной. Лиза была странное существо. Горе и радость выражались у нее так бледно, так тихо и, несмотря на то, возбуждали участие; но вообще она принимала за горе то положительное горе, которое легко можно определить словами и которое не выходит за границы материального. Она почти никогда не плакала, говорила, что слез у нее не вышибешь и обухом. Никогда ни к кому не ласкалась без причины, так, по влечению внутреннего чувства, переполняющего через край молодое сердце. Раз, помню это как теперь, мы ходили в саду в ясный весенний день; солнце обливало горячими лучами синеватую зелень пихт и сверкающие листья берез; воздух напоен был живительным запахом свежей зелени и благоуханием ландышей, которые выставляли серебряные колокольчики из-под широких, атласистых, темно-зеленых листьев своих. Чувство безотчетного счастья вдруг охватило все существо мое, сладкий трепет проник меня, и, заливаясь слезами, я вдруг обняла Лизу и скрыла лицо на ее груди. Она посмотрела на меня с удивлением и на поцелуй мой отвечала с убийственным комизмом:

– Здравствуй! давно не видались! – потом прибавила, –
какая же ты странная!¹

Я глубоко обиделась; сердце у меня сжалось непривычным холодом. Лиза заметила это и сказала:

– Послушай, Генечка, ты не сердись на меня, я уж такой человек, я не могу ласкаться; я тебя люблю, ты знаешь, но ласкаться не могу; спроси хоть маменьку, и она тебе скажет; я и сама не рада.

Это успокоило меня, я скоро примирилась с ее холодностью, уверив себя, что она уж такой человек.

Странно, что книги никогда не могли возбудить ее внимания; она засыпала на второй странице каждой повести или романа, как ни были занимательны они; но слушала с удовольствием, когда я рассказывала ей читанное. Лиза была строга и положительна не по летам, так же как я мечтательна не по летам; но между тем мы притворялись детьми перед старшими и удалялись от всего, что нас не касалось. Самолюбие уже говорило в нас, и услышать: «Вы еще дети, это не ваше дело» – было бы нам очень обидно.

И вот незаметно создался для нас особый мир и окружил нас волшебною чертой. Мы стали играть... Но эти игры не походили на игры других детей, где куклы и воображаемые гости составляют все. Нет! Наши игры были целые романы, драмы, поэмы... Воображение мое работало сильно, и яр-

¹ Здесь и далее: знаки препинания, а также написание строчной и прописной букв сохранены в авторской орфографии. *Примеч. редактора.*

кость моих вымыслов увлекала мою подругу. Слово «будто» было волшебным жезлом, по которому двигалось и творилось все, чего бы мы ни пожелали... Часто мы обливались горькими слезами в наших играх и тогда, когда уже были почти взрослыми. Игры наши росли и развивались по мере того, как развивались наши способности, разгорячалось воображение; общество, балы, любовь, тираны и покровители, богатство, удовольствия, радость и горе – всем этим окружали мы себя полно и живо, угадывая по своему разумению то, чего еще не испытали в действительности; чтение романов также немало способствовало этому. Так, не выходя за решетку сада, мы совершали дальние путешествия, попадались в руки разбойников; влюбленный в меня атаман готов был уже сделаться моим мужем, и вот является неожиданный избавитель; разбойники упорно защищаются, наконец побежденные, спасаются бегством. Избавитель – разумеется, очаровательный молодой человек – ранен; мы ухаживаем за ним; я влюбляюсь и любима взаимно; но тут жестокий отец разрушает свою непреклонною волей все наши надежды и принуждает меня выйти за знатного старика. Лиза – тогда уже, разумеется, под другим именем, – старшая сестра моя, собирает меня, несчастную жертву, к венцу, похитив из цветника несколько лилий и пунцовый пион для такого торжественного случая, потом приводит меня, полную отчаяния, в великолепно убранный зал, наполненный гостями (то есть в пустую старую беседку в саду), тут я падаю в

обморок... Общее смятение... и, наконец, появление Дуняши с докладом, что тетенька приказала нас позвать кушать чай или обедать. Очарование исчезает и заменяется действительностью, имевшею для нас в то время также свою прелесть. Печальная невеста бежит с громким смехом по длинной густой липовой аллее к дому, где вместо жестокого отца ждет ее добрая тетушка, вместо ненавистного свадебного пира – густые сливки и ягоды.

Нам минуло четырнадцать лет. Я, бывшая до сих пор меньше ростом Лизы, вдруг выросла и развилась, так что на полвершка переросла мою подругу. Мы стали и на вид совсем большими; и соседки, и тетка обращались с нами уже как со взрослыми. Нас звали неразлучными; тетка же называла нас любовниками, потому что мы всюду и всегда являлись вместе и одна без другой не выходили даже в другую комнату. Лиза всегда ночевала дома, и каждое утро я с трепетом ожидала, когда появится она в своей шубеечке на дороге перед домом. Иногда зимой она, бывало, подкрадется и бросит снегом в стекло. Простуды она не знала и никогда не была больна; зато я хворала порядочно, хотя всю зиму и сидела безвыходно в комнатах. Но случалось на святках, когда тетушка заговорится с соседкой, решусь я выбежать с Лизой тихонько на крыльцо. Это было не так трудно, потому что крыльца было два, передняя всегда пуста и нас не могли видеть. Боже мой! какой это был подвиг! Сердце билось, будто совершалось преступление; стащишь, бывало, большой пла-

ток, висевший всегда на тетушкиных ширмах, накинешь на голову... так и хочется вырваться на волю...

– Надень мои валенки! – молвит Лиза, – видишь ты какая фарфоровая...

– А ты как же, Лиза?

– Я не простужусь; я так надела валенки; я все в башмаках по снегу хожу.

И выйдем мы со страхом, скрипнув дверью. И глянет, бывало, на нас своими бриллиантами звездная, морозная ночь, и хорошо нам, и весело, и стоим мы, будто очарованные, на хрупком снегу, пожирая взором пространство, залитое лунным светом, засыпанное миллионами искр, и глядим мы на звездное небо, синее, безграничное, как надежда, чудное и далекое, как будущность, о которой мечтает доверчивая молодость...

А когда наступала весна, когда яркий поток ослепительного света вливался в окна, не завешенные драпировкой, и воробьи весело чирикали на кустах сирени, покрытых почками, и скворец распевал на своем скворечнике, а на окошке начинали цвести ирисы и авриколии, и оживающие мухи жужжали на теплом стекле, – о, какой чудный мир отрады и блаженного восторга раскрывался тогда в душе моей! Как стремилась я вырваться на воздух, с какою завистью смотрела на здоровых ребятишек, которые валандались в весенних лужах, с какою любовью приникала я к ветке вербы, занесенной Дуняшей или Аннушкой в девичью; как вдыхала

свежий запах ее коры; как ждала, как молилась, чтоб поскорей сошел снег и солнце высушило землю, потому что только тогда кончалась моя неволя, только тогда открывался вход в необъятный храм природы, где я пила полной грудью живительную струю весеннего воздуха.

У Марьи Ивановны, как я сказала выше, был еще сын, годом моложе Лизы; азбука едва была знакома мальчику, который, по выражению тетушки, бегал как саврас без узды. Митя приходил к нам с сестрою только по воскресеньям и праздникам поздравить тетушку, что он, по внушению матери, считал непреложною обязанностью; прочие же дни предпочитал играть с мальчишками в бабки или разорять птичьи гнезда, против чего Лиза ужасно восставала. Мы вообще не питали к нему никакого уважения и никогда не пускали в свои игры.

Марья Ивановна вспомнила, что сыну пора приниматься за грамоту, и стала отыскивать учителя «не мудреного», да с тем, чтоб уже кстати поучил и Лизу, которая, однако, читала порядочно.

– Генечку мою нечего учить, – говорила тетушка, – будет время, сама всему выучится; она читает бесподобно, пишет очень порядочно; мне самой Бог помог ее выучить.

– Вы, маменька, другое дело, – говорила картавя Марья Ивановна, – вы и сравнения нет. Не будь у меня Митеньки, я бы Лизу и не подумала учить, ну а мальчика так оставить нельзя... А легко будто это? Вот учитель-то сто рубликов

просит... а от какого состояния?

– Ну, уж так и быть, я заплачу учителю, – сказала тетушка. Марья Ивановна бросилась целовать у нее руку.

В одно мартовское утро Лиза живет обыкновенного вбежала ко мне в комнату.

– Здравствуй! – сказала она, пахнув на меня свежим воздухом, – что это ты до сих пор в постели?.. Ах ты, соня эдакая!

– Да ты, Лиза, вчера в котором часу легла?

– Как пришла от вас, в девять часов.

– Ну а я до двенадцати читала тетушке... Ах, Лиза, что это за книга, Мельмот-Скиталец!

– Ну полно, ты, с книгами! К нам учителя привезли...

– Привезли? – вскричала я и тотчас стала одеваться. – Ну, скажи, что он? молодой?

– Молодой.

– Хорош ли?

– Ничего, недурен...

– Черноволосый?

– Нет, белокурый...

Лиза рассказала мне со всеми подробностями о приезде учителя и первый разговор с ним матери. Она смешила меня безо всякого намерения смешить. Притом же в то блаженное время смех наш ежеминутно раздавался, заставляя иногда улыбаться даже Федосью Петровну, тетушкину ключницу. От тетки мне всегда доставалось за смех.

– Генечка! – говорила она тоном строгости, – эй! привыкнешь смеяться поминутно, будешь смеяться и в обществе.

Добрая тетушка! как она ошибалась: привыкнуть быть веселой! как будто это возможно.

Я смеялась только с Лизой, а без нее была иной человек, да и при ней часто вдруг набегали на меня минуты безотчетной тоски, я садилась в угол и плакала. Мы не смеялись, когда в сумерки смотрели в окно, когда догорала заря или носились серые облака. Тут мы или молчали, или говорили не по-детски о предметах высоких и недоступных нам, решая по-своему вопросы, волновавшие наш ум. Я старалась заинтересовать мою подругу тем, что сама считала высоким и прекрасным. Лиза, впрочем, терпеть не могла отвлеченных разговоров, и когда я замечтаюсь, она всегда, бывало, прервет меня:

– Ну, мать моя, ты уж пошла рассуждать, точно ученая.

Я падала с облаков и становилась в уровень с ее положительностью, которая исчезала только тогда, когда мы начинали играть.

Жизнь моя разделилась незаметно на две половины: на жизнь с Лизой и на жизнь без нее. Все время одиночества я посвящала на чтение и на беседу с тетушкой, которой рассказы были для меня приятны и занимательны. Но не всегда рассказывала тетушка: часто она поучала и читала длинные нотации, которые я слушала с наружным терпением; но, несмотря на то, многое оставалось у меня в сердце, и я часто

сознавала внутри себя, что тетка говорит правду. Так ее речи были иногда полны истины. Приезд учителя не нарушил моих свиданий с Лизой; она приходила ко мне только часом позже утром и уходила часа на полтора после обеда учиться, и то не всякий день. Об учителе разговоров у нас было немало. Она пересказывала мне каждое его слово, иногда посмеивалась над ним; говорила, что у него много стихов, что он привез с собой десятка два книг. Говорила также, что он спрашивал обо мне, что просил ее кланяться мне и просит у меня книг, потому что он умирает от скуки.

Я знала неряшливость, царствовавшую в доме Марьи Ивановны, и понимала, как тяжело было мало-мальски порядочному человеку жить тут, не имея с кем перекинуться мыслью. Я посылала ему книги, и когда получала их назад невольно перелистывала их... некоторые места были подчеркнуты карандашом...

А между тем апрельское солнце сгоняло последний снег, и сад принял какой-то зеленовато-бурый оттенок. Иные аллеи начинали уже просыхать, и дикий цикорий зацвел на завалинах у стен дома. Мы обдумывали с Лизой, как бы попроситься у тетушки погулять, и сердце мое замирало при мысли об отказе. Наконец в один теплый день вошла я к тетушке. Она сидела за книгой и шепотом читала.

– Что ты, Генечка? – спросила она, заметив меня.

– Тетенька! отпустите нас погулять, очень тепло, спросите Федосью Петровну...

Тетушка выходила на воздух только в самые жары. Тут же кстати вошла и Федосья Петровна.

– А что? тепло на дворе, Федосья? – спросила тетушка.

– Тепло, хорошо, сударыня. Али детям погулять хочется? Отпустите, матушка! тепло сегодня, не простудятся.

Никогда не забуду той радости, которую я чувствовала при этом решении.

За дверьми тетушкиной комнаты ждала меня улыбавшаяся Лиза; она радовалась больше за меня, чем за себя, потому что прогулка не имела для нее такой новизны и прелести, как для меня. Я прыгала, как козленок, и обнимала всех горничных. Через несколько минут явилась Федосья Петровна с целым возом на руках разной одежды. Я с ужасом глядела на толстый ватный капот и тетушкину меховую кацавейку, на платки и кофточки, которые должны были накутаться на меня. Радость моя несколько помрачилась при мысли, что я едва буду в состоянии поворотиться, не только бегать.

Начался процесс одеванья.

– Федосья Петровна! да вы меня задушите, – говорила я умоляющим голосом.

– Ничего, сударыня, – отвечала она, – простудитесь – хуже будет; куда мы тогда поспеем? все будем виноваты у теньки.

Наконец, задыхаясь от жару, скорее похожая на копну сена, чем на живого человека, вкатилась я к тетушке, увлекаемая вперед собственною своею тяжестью.

– Тетушка! мне душно, мне жарко! – восклицала я почти со слезами, – нельзя ли снять хоть кацавейку?

– Смотри, не простудись, Генечка! не срази ты меня...

– Да этак я хуже простужусь, – замечала я чисто инстинктивно.

– Не снять ли уж и вправду кацавейку, Федосья, ежели очень тепло?

– Как прикажете; оно тепло-то, тепло... ветерочек есть маленький.

– Вон, видишь ли, Генечка, ветрено, говорят.

– Да какое ветрено, тетенька! посмотрите, деревья не качаются...

– Ну уж сними с нее кацавейку. На вот, надень мой платок, он претеплый.

И тетушка сняла с себя платок и, к великому моему удовольствию, заменила им кацавейку.

Мы вышли. Федосья Петровна проводила нас и обещала прислать нам сказать, когда будет время воротиться домой. Глубоко и ярко сияло над нами голубое весеннее небо и, казалось, вызывало магнетической силою из земли разнообразные растения, разбивало почки на деревьях и всему давало жизнь и блеск. Нас обдавало тем теплым, проникающим воздухом весны, который заставляет сердце биться сильнее обыкновенного и располагает душу к мечте и вере в счастье. Мы добежали до конца сада и остановились в нескольких шагах от калитки, выходящей в поле, вскрикнув от неожи-

данности: у калитки стоял учитель.

– Ах, Павел Иванович, как вы нас испугали! – сказала Лиза.

– Извините, – сказал он, – я никак не хотел испугать вас.

Здравствуйте, Евгения Александровна! – обратился он ко мне свободно и весело, будто старый знакомый.

Я отвечала ему тем же. Я живо помню этот первый разговор мой с ним.

Мы ходили с ним на старых друзей, давно не видавшихся и спешивших в короткое свидание передать друг другу свои впечатления.

Во время самого жаркого разговора Лиза сказала как-то отрывисто:

– Пора и домой, нас зовут.

И в самом деле, визгливый голос Дуняши раздавался по саду. Мы простились с учителем и бросились к ней бегом навстречу.

Придя домой, я вспомнила, что Лиза ни разу не вмешалась в разговоры наши и что ей было скучно, потому что подобные разговоры были не в ее вкусе.

– Что это ты не говорила с нами? – спросила я ее.

– А что мне говорить? Я не умею говорить по-твоему, да и терпеть не могу говорить с ним...

– Отчего же, мой друг? – спросила я с изумлением, – он, кажется, умный человек.

– Он мне противен; иезуит, должен быть.

– Почему ты так думаешь?

– Да уж так, сердце мое чувствует, недаром я так не люблю его; вот вспомни меня.

Лиза имела на меня большое влияние, и потому слова ее огорчили меня и родили какое-то чувство сомнения насчет учителя. Я считала себя, не знаю почему, будто виноватою перед Лизой и старалась всячески заставить забыть ее, что я так исключительно занималась в саду учителем.

Дни становились все теплее. Мы наконец уже получили свободу гулять сколько душе угодно; тетушка давала нам эту свободу в уважение краткости северного лета. Уже длинные косы мои свободно бились по моим плечам; я не любила носить их обвитыми вокруг головы, как всегда делала Лиза, за что тетушка звала меня Авессаломом.

Свидания наши с Павлом Ивановичем повторялись довольно часто; но, Бог весть отчего, мне неловко было говорить с ним при Лизе. Он, видимо, искал нас встретить и показывал в отношении ко мне тонкую внимательность в обращении. Сердце мое билось каждый раз, когда приветливые звуки его голоса касались моего слуха. Мне становилось так хорошо, так отраднo после разговора с ним, как будто тяжесть спадала с моей души. Летом Лиза не была так безотлучна со мною, как зимой; она часто отправлялась с матерью за грибами; это было для нее слишком большое удовольствие, и она бы не пожертвовала им для моего общества. Учитель почти всегда оставался дома, и я уверена была, что после обеда найду его у решетки сада. Да, я забыла сказать еще что-нибудь о

его наружности: помню, что это был белокурый, с тонкими, приятными чертами лица молодой человек среднего роста, с такими мягкими, шелковистыми на взгляд волосами, что невольно хотелось погладить их. Голубые глаза его смотрели на меня внимательно и грустно. Теперь только припоминаю я, что одет он был, увы! в очень старый сюртук.

Однажды, после обеда, мы разговаривали с ним через забор; крик гусей заставил нас оглянуться – птичница прогнала мимо нас свое стадо.

– Здравствуйте, матушка Евгения Александровна! – сказала она.

Мне вдруг стало неловко и совестно. «Что подумает она, видя, как я одна разговариваю с учителем? Что, если это подаст повод к сплетням? если узнает тетушка?..» Но я старалась отогнать эту мысль, и нам снова стало хорошо и весело.

Не забуду я этого дня! Мне кажется, и теперь вижу я это синее небо; жаркий воздух румянит мне лицо; рой насекомых жужжит на разные тоны; солнце сушит скошенное сено, и ветерок едва колышет листья берез; вдали за садом сверкает извилистая река; я вижу ее сквозь забор, так же как таинственную синеву дали, как колышущиеся нивы, пестреющие васильками, и дикую ленту дороги, по которой подымается облако пыли и скрипит несмазанная телега. И стоим мы несколько времени под гнетом непостижимого обаяния, и на меня близко, сквозь тын, смотрят два блистающих глаза и слышится дыхание человека, первого любящего меня

человека, того, чей голос впервые пробудил в юном сердце моем новые, сладостные ощущения. И голова моя не кружилась, и мне не было страшно – нет, я полною грудью дышала этим очаровательным воздухом, недрогнувшими устами пила первую струю счастья; мне казалось, что жизнь давала мне должное, и я, не краснея, принимала дар ее.

– О чем вы думаете? – спросила я его.

– Я думаю о том, что люблю много, преданно и безгранично, – отвечал он.

– Кого же это вы любите? – спросила я так тихо, что голос мой слился с шепотом листьев... – Хотите меня сделать своей поверенной?

Я уже начинала хитрить.

– Вас, – отвечал он так же тихо, – ведь вы должны же знать это. Вас люблю я, как никого не буду любить... Мне кажется, мне чувствуется, что и вы любите меня.

Странно! Как ни была я приготовлена к подобному ответу, но он меня до того поразил, что первым делом моим было скрыть пылавшее лицо мое за веткой березы, потом бежать, бежать без оглядки домой... И, может быть, в первый раз пробежала я без внимания мимо роскошных групп пионов, пунцовых и розовых, мимо душистых нарцисов и роз; в первый раз я пришла в комнату, не сорвав ни одного цветка. Тетушка еще спала. Я остановилась перед зеркалом в гостиной и с каким-то странным любопытством вперила в него взор. Я любила! Эта мысль горела в уме моем ярким заревом...

Я любима! И я смотрела на себя и, казалось, видела себя в первый раз... Да, ему нравятся и эти длинные светлые косы, которые мне так хотелось поменять на черные, и эти глаза... да глаза-то у меня недурны, мне и Лиза говорила... Она говорила: «Как бы тебе к этой белой коже да черные волосы и черные брови, ты бы просто была красавица...»

И тут узнала я, что не нужно быть красавицей, чтоб быть счастливой...

– Здравствуй! что это ты любишь себя? – сказала тихо вошедшая Лиза.

Мне стало стыдно. Я скрыла, как могла, свое волнение и начала расспрашивать Лизу, много ли она набрала грибов. А между тем совесть моя вопияла против того, что я имела тайну от подруги, так много любимой мною. Но как сказать? как признаться? Я знала ее строгость, знала ее ненависть к Павлу Ивановичу. Я страдала потому еще, что сердце мое жаждало откровенности.

Птичница, однако, не прошла мимо нас даром; она сказала таинственно горничной о том, что, дескать, барышня все разговаривает с учителем; от горничной этот донос непосредственно перешел к Федосье Петровне; но Федосья Петровна была хитра и осторожна; она не решилась сказать об этом тетушке вдруг, а стала присматривать за нами.

Я долго ничего не замечала. Но однажды Лиза, сидя со мной на балконе и поглядев на меня своими большими серыми глазами, покачала значительно головой... Она знала,

что это было верное средство возбудить мое беспокойство. Я просила ее не мучить меня молчанием.

– Послушай, – сказала она, – ты разве хорошо делаешь, что любезничаешь с учителем? Все тебя осуждают, да еще, пожалуй, и он первый будет над тобою смеяться. Вчера была у нас Марья Матвевна (соседка), и она уж слышала: «Как жаль, – говорит маменьке, – он, должен быть, ужасный человек, а она еще ребенок». А маменька говорит: «Моя Лизавета таких же лет, да в одном доме живет, а, слава Богу, ведет себя не так... Жаль, говорит, бедная маменька крестная! а как скажешь, Марья Матвевна, сама посуди!» Вот что говорят! а наша Арина говорит, что вы уж с ним целуетесь... Да ты не пугайся, ты брось это все, так и говорить перестанут... Али ты и вправду влюблена? – видишь, ты побледнела как! – сказала она, взглянув на меня.

Я чувствовала, как вся кровь прихлынула мне к сердцу; я дрожала от горя и негодования и наконец залилась слезами, проникнутая глубоким оскорблением... Я рыдала, приклонясь к деревянной колонне балкона. Лиза долго глядела на меня своими спокойными глазами, потом вдруг наклонилась ко мне и сказала почти нежно:

– Да полно плакать, о чем ты плачешь? Экая важность! полно, все пустяки! вперед ничего тебе не скажу. Вот он сколько тебе горя наделал! недаром я терпеть его не могу.

Знаете ли вы, как тяжела первая клевета, каким камнем западает она в молодую, доверчивую душу, как мрачит чи-

стый поток первых девственных мечтаний? Это первое зерно зла, это начало сомнения в жизни...

Лиза успела, наконец, успокоить меня немного, но весь тот день я не могла без ужаса вспомнить, что выдумало на меня праздное воображение болтуни Арины. Через несколько дней я стала как будто привыкать к своему горю; но уже далеко не те были мои свидания с ним: они отравлены были сомнением, страхом и чем-то необъяснимо грустным. Он не мог не заметить этого, но я скрыла от него причину моей печали и рассеянности.

Однажды Лиза сказала мне, что она идет после обеда за грибами. День был дивный; ночью шел дождик; сад дышал благовонною сыростью, зелень его переливалась ярче обыкновенного. Мы сидели на крыльце: широкий двор расстился перед нами изумрудным ковром, кое-где испещренным лиловыми колокольчиками, алою купальницей да золотистыми цветочками лютика. Три девочки и мальчик, все не старше пяти лет, полунагие, как амуры, живописно расположились на траве. Они строили домик из старых кирпичей; их полненькие ручонки сверкали на солнце, и серебристый смех раздавался звонко. Вдали, за двором, синел лес, который был недоступен для меня, как эдем для грешника, и, вероятно, потому именно манил меня неодолимо. Тетушка имела странное упрямство не пускать меня дальше сада.

– Как ты счастлива! – сказала я со вздохом Лизе, – ты идешь в лес! Нарви мне ландышей: в саду немного, и я рвать

их не хочу, потому что вечером наслаждаюсь их запахом.

– А какие цветы там на реке! – сказала она, – донник, кувшинчики!.. здесь нет таких. Знаешь что, Генечка? попросись! тетушка отпустит тебя, теперь ты не маленькая...

– Может быть, и отпустит, да ей это будет неприятно.

– Вот еще! только бы отпустила, а там посердится, да такая же будет.

Просить, притом же просить с уверенностью, что на просьбу мою неохотно согласятся, было для меня истинной пыткой; но Лиза подговаривала меня так усердно; темнеющий лес, казалось, посылал мне призывные вести: они слышались мне в легком дуновении ветерка, в песне жаворонка, звучавшей высоко над нашими головами, – я победила свою нерешимость и через минуту стояла уже перед тетушкой. Тетушка несколько времени колебалась, но, видно, физиономия моя была на этот раз очень выразительна, что она с улыбкой посмотрела на меня и сказала кротко:

– Ах ты глупенькая, Генечка! еще совсем-то ты ребенок... Ну, хорошо, Бог с тобой, только я пошлю с тобой Катерину.

Я бросилась целовать руки доброй тетушки. И как горячо любила я ее в эту минуту, как совестно мне было внутренне сознаться, что я ошибалась, воображая себе, что она не поймет моего желания!

До прогулки оставалось еще несколько часов; я то и дело глядела на небо; каждое облачко пугало меня; того и жди, что вот сейчас испортится погода, пойдет дождик, тогда про-

щайте счастливые ожидания! Но небо было ясно; легкие прозрачные облачка плавали по нему, поминутно меняя формы...

Отобедали, кончилось тревожное ожидание, Катерина уже повязывается пестрым платком; сердце мое бьется, и вот идем мы в ближайший лес втроем: Лиза, я и Катерина. Мать Лизы переменяла намерение и уехала на дальнюю пустошь, на покос, брать грибы и присматривать за работами. Лиза осталась, и я не знала, как благодарить ее за это. Но на благодарность мою она отвечала со своею немного насмешливою, лукавою улыбкой:

– Не за что тебе быть благодарной: ты думаешь, мне весело быть там целый день на солнце, с мужиками да бабами.

Мы подходили к самому лесу, как перед нами явился учитель. Он предстал так неожиданно, что невольный крик испуга вырвался у меня.

– Чего ты испугалась? – смеясь, сказала мне Лиза. – Вы, Павел Иваныч, точно из земли выросли, – обратилась она к нему. – Ты знаешь ли, Генечка, что Павел Иваныч колдун? Он заранее знает, куда мы пойдем. Смотрите, Павел Иваныч, вы не оборотень ли?

– Если б я был колдун, Лизавета Николаевна, то вы бы у меня давно поднялись теперь на воздушной колеснице и были б перенесены в какое-нибудь волшебное царство...

– Вместе с Катериной, разумеется?..

Эти последние слова были сказаны Лизой, несмотря на

ее скрытность, так желчно, так дышали неприязненным чувством, что я невольно покраснела и наклонилась, будто сорвать цветок; тягостное чувство темным облаком пронеслось у меня по душе. Я не могла понять Лизы; не могла сомневаться в ее дружбе ко мне и не могла объяснить вражды ее к этому человеку. Тысячи неясных догадок, вопросов мелькали в голове моей, и я ни на чем не могла остановиться с уверенностью.

– Ах, Генечка, о чем ты думаешь? проходишь мимо грибов; посмотри, какие молоденькие! Нет, с вами немного наберешь, – сказала Лиза и повернула в чашу. – Ты не ходи за мной, Генечка! – кричала она, – ты не привыкла ходить по лесу; посмотри, какой здесь лом! ты упадешь или ногу наколешь, я уж привыкла.

И вправду, лес был местами так нечист и завален ветками от срубленных деревьев, что я, попытавшись следовать за Лизой, упала, оступившись, и со смехом воротилась на лужайку. Лиза была в лесу как дома и по самым ломаным местам шла так легко и свободно, что ее можно было бы принять за лесную нимфу, если б сухие сучья не трещали под ее ногами. Вскоре она скрылась и уже вдали перекликалась с Екатериной громким «ау». Мне было почти досадно быть перед нею такою изнеженною и разниться от нее чем бы то ни было. Притом же я становилась в необходимость остаться наедине с молодым человеком; мне вспомнились все сплетни, все нелепые толки и навели на мою душу облако недоверчи-

вности и безотчетного страха. Но он поглядел мне в лицо так грустно и так кротко, что перед этим взглядом исчезли все мои сомнения, и я уж тайно раскаивалась, что оскорбила его недоверчивостью. Я улыбнулась и подала ему пучок незабудок, нарванных при входе в лес...

– Вы изменились, – сказал он, не переменяя выражения лица, – вы стали не те; вы будто боитесь меня – меня, который бы отдал радостно свою печальную, бесполезную жизнь за ваше счастье! Не грех ли вам! Не слушайте их! подумайте, что это за люди, какими глазами смотрят они на все чистое и прекрасное души... Не мучьте и себя, я знаю, каково вам сомневаться...

Я с трудом удержала слезы, готовые брызнуть из глаз, и рассказала ему, утаив только выдумку Арины, мои опасения и соседские толки и то, как тяжело мне думать, что, может быть, между нами скоро станет высокая стена и закроет нас друг от друга.

Я говорила с жаром; ленточка, заплетенная в мои волосы, осталась на какой-нибудь игольной ветке; я этого не замечала до тех пор, пока косы мои не расплелись и не распустились длинными волнистыми прядями до колен, покрыв совершенно мои плечи. Как мне было стыдно! Так стыдно, что я охотно б провалилась сквозь землю. Что ж? Воспользовался ли он моим замешательством, предался ли глупому удовольствию смущать еще больше и без того смущенную девушку? Нет, он как будто и не глядел на меня, хоть я в

то время ясно видела, что он тайно любовался мной, потому что он любил, а любимая женщина всегда первая красавица для любящего...

– Вы устали, – сказал он, – отдохните здесь. Посмотрите, какие хорошенькие птички порхают над нами. Это малиновки, только что вылетевшие из гнезда. Хотите, я поймаю одну из них?

– Не поймать вам! – сказала я, свивая из осоки снурок, чтоб связать волосы.

– Как не поймать! нужно только подкрасться тихо и осторожно, чтоб не спугнуть...

И он в самом деле поймал одну птичку. Бедная крошка трепетала в моих руках; светленькие глазки будто молили о пощаде; она мне стала так мила и жалка, будто мы были с ней родня, будто между нами было что общее. Я покрывала поцелуями ее нежные пепельного цвета перышки, ее шейку, покрытую розовым пухом.

Я раскрыла руку, сжимавшую пленницу, настолько, чтобы дать ей возможность улететь. Птичка будто не вдруг поверила своей свободе – она вытянула шейку и встряхнула крылышками, прежде чем вспорхнула и присоединилась к подругам.

– Мы дали ей урок опытности, – сказал он с улыбкой, садясь на траву, – теперь она не скоро попадет в кошачьи лапы. А ведь, верно, бедняжке казалось большим несчастьем то, что после послужит ей благом...

– Как же страшно жить на свете, если добро и зло так перемешаны, что трудно отличить их, – заметила я.

– Да, жизнь не легка...

– Вы много страдали? Я ничего не знаю из вашего прошедшего.

– Я расскажу вам его, если оно хоть немного интересует вас.

– Не возбудит ли это слишком тяжелых воспоминаний?

– Самое тяжелое я пропущу, потому что, видите, все-таки неприятно смотреть на болото, в котором едва не погиб.

– Нам остается немного времени быть вместе, я боюсь, что не успею ничего узнать. Лиза и Катерина, может быть, уж ищут нас и думают, что мы заблудились.

– Нам остается еще несколько часов. Лиза не придет до тех пор, пока не будет время идти домой. Судя по солнцу, теперь час четвертый, а вы должны воротиться домой только к чаю.

– Почему вы это знаете? – живо спросила я.

– Потому что я просил ее об этом.

– Вы? что же она подумает?

– Подумает, что мне хотелось поговорить с вами.

– Ах, что вы сделали? знаете ли, что она вас ненавидит?

– Да какое нам дело до ее ненависти?

– И вы сделали это тихонько от меня?

– Чтобы поймать птичку, надо всего больше стараться не спугнуть ее.

– Вы играете роль кошки, – сказала я с негодованием.

– Нет, – отвечал он тихо и нежно, – скорее, роль той маленькой белой ручки, которая поласкала и отпустила малиновку, дав ей урок опытности. Пройдут годы, и, может быть, мысль ваша обратится с любовью и благодарностью к воспоминанию обо мне. Это гордая мечта с моей стороны; но я уверен, что она сбудется, потому что она так же чиста и благородна, как любовь моя к вам.

Я дружески протянула ему руку; я уважала и ценила его чувство. Вот что рассказал он мне о себе.

II

Я родился в двух верстах отсюда, в селе Покровском. Отец мой и теперь там священником. Это бодрый, умный старик, характера строгого и взыскательного. Семью свою он держит в руках, и нет удержки его родительскому деспотизму. Мать моя добрая, кроткая женщина. Нас у батюшки семеро: два брата и пять сестер. Старший брат мой уже восьмой год священником в одном богатом торговом селе. Я родился пятым и был такой хилый, бледный, беловолосый ребенок, тогда как сестры мои были все полные, красивые девочки, все темноволосые, черноглазые, старший брат мой такой молодец и силач, что загляденье; за то меня прозвали немцем, и это название осталось за мной и до сих пор. Оно одно довольно ясно обозначает положение мое в родной семье. Ребенок, прозванный немцем в семье приходского русского священника, должен был казаться чужим в этой семье. Никто не любил меня особенно, хотя я и не был, как говорится, в загоне и за общим столом меня не заделяли куском пирога.

Рано начал я скучать в нашей душной, хотя просторной избе. В избе меня тянуло на воздух, на воздухе я рвался дальше. Болезненная, преждевременная мечтательность налегла на мою детскую душу безотвязным сновидением. Помню эти бесконечные зимние дни и таинственные для меня вечера. Вместе с наступлением сумерек вся семья уляжется сумер-

ничать, то есть спать часа на три. Помню, как я, выждав, когда все заснует, садился на лавке у окна, уставя с трепетом лицо в окошко. Глазам моим представлялась картина заманчивая и страшная, как глава из романа г-жи Радклиф: кладбище и белая церковь, озаренные луной. Чтоб видеть эту картину, я дыханием оттаивал замерзшее стекло... Мне было жутко... Думы рождались и замирали в моей голове, и все становилось так смутно, и казалось, подымались с кладбища белые, прозрачные тени, и близились, и ловили меня... Но почти всегда в самую критическую минуту или просыпалась матушка, громко творя молитву, или батюшка вскрикивал:

– А что вы это до сих пор спите? что не вздуете огня? можно выпасться...

Или розвальни подъезжали к крыльцу и кто-то кричал, стуча в дверь:

– Пустите, родимые!

– Видно, с требой... – говорила обыкновенно вторая сестра моя, имевшая очень тонкий сон, и потому нередко бранившая меня за бессонницу, называя полуночником.

Фантастические сновидения заменялись говорливою радужною действительностью; изба освещалась пятериковою сальною свечой, и приезжая баба или мужик смиренно усаживались на лавку в ожидании батюшки, который, кряхтя, надевал широкий тулуп...

Так шла жизнь моя по зимам. Воскресенья и господские праздники составляли также немаловажные случаи в моей

жизни. С какой радостью надевал я синий длиннополый кафтанчик и бежал за батюшкой в церковь; с какою гордостью прислуживал ему; как смело, с какими вежливыми поклонами протеснялся между нарядными господами, отправляясь за теплою или холодною водой, смотря по приказанию батюшки!

Между прихожанами самый богатый и самый уважаемый был князь Кагорский. Он был вдов, лет пятидесяти, и страстно любил своего единственного сына. Огромный каменный дом его, верстах в двух от нас, виднелся, осененный большим садом с кривыми, вьющимися дорожками (тогда я не знал еще, что такой сад называется английским). Вправо — ряд надворных строений.

Надобно вам сказать, что ни с одним из дворовых ребятишек не смел я не только дружиться, но даже играть вместе. И батюшка, и матушка оказывали в этом отношении неумолимую строгость... Я был совершенно одинок: у дьякона дети были уже большие; у дьячка и пономаря было по одной дочери, и те были уже замужем в соседних приходах; две меньшие сестры мои играли между собой и всегда прогоняли меня от себя. Летом я оживал совершенно: целый день проводил на отмели реки, то ловя маленьких рыбок, то собирая камешки, то просто глядя на бегущие волны. Под вечер я приставал к сестрам, которые отправлялись искать отставшую корову или лошадь.

Мне было лет восемь. Я уже бойко читал церковные кни-

ги и подписи под лубочными картинками духовного содержания, которыми испещрены были стены нашей избы и горницы. Эти картины были для меня предметом самой живой наблюдательности. Налюбовавшись ими вдоволь, я начинал всегда думать: как это рисуют? и неужели бы я также мог нарисовать подобную картину, если б поучили меня?

Однажды, на закате солнца, я сидел на ступенях нашего крылечка. Батюшка выпрягал из телеги лошадь, матушка с двумя сестрами шла с поля, заложив серпы на плечи. В сенях кипел большой самовар, у которого суетилась сестра Лиза.

– Смотри-ко, попадья, – сказал батюшка, подымаясь на крыльцо. – Немец-то наш отдышался, хоть в семинарию так в пору.

– Слава тебе Господи! – отвечала матушка, – дай ему Бог здоровья и счастья!

– Пойдем, немец, пить чай, – сказал батюшка.

По обыкновению я поместился у окошка; в это время Молодец, наша собака, залился громким, визгливым лаем; каждый из нас старался поглядеть в окно, хотя причина лая не могла быть для нас чем-нибудь новым... Но на этот раз любопытство наше было потешено явлением, не совсем обыкновенным на нашей улице: гувернантка князя Кагорского с воспитанником своим шла пешком, сопровождаемая каким-то миниатюрным экипажем в одну лошадку. Маленький князь дразнил хлыстиком задорливую собаку; гувернантка останавливала его непонятными для нас словами.

Матушка отогнала нас от окна и высунулась сама по пояс: – Амалья Карловна! Амалья Карловна! Милости просим на перепутье чайку накушаться; одолжите, матушка! Батюшка, Эспер Александрыч! пожалуйста, обяжите хоть на минуточку.

Лиза, предпоследняя сестра моя, годом меня моложе, глазела уже на крыльце, улыбаясь розовыми губками и прищуря от косвенных лучей солнца черные глазенки свои. Гувернантка колебалась, князь что-то ласково говорил ей на том же непонятном языке. Разговор этот кончился согласием зайти к нам. Я совсем притих и сел в угол. Не знаю почему, но я желал остаться незамеченным.

Князь весело вбежал, снял соломенную фуражку и подошел к благословию батюшки бойко и самоуверенно; сказал даже, что его папа говорит, что уж давно не видал отца Ивана, что шахматы остаются в бездействии.

Как теперь гляжу я на этого красивого, умного, бойкого мальчика с темно-русыми кудрями, падавшими на белый воротничок, с большими карими глазами, стройного, тоненького, одетого в темно-серую курточку. Голос его был звучен и тверд не по летам и имел в себе какую-то музыкальность, какую-то необъяснимую прелесть.

Покуда матушка суетилась за самоваром, маленький князь осматривал стены, увешанные знаменитыми произведениями лубочной живописи; он подходил от одной к другой, пока наконец не приблизился ко мне. Тут только он за-

метил меня, и будто назло моему смущению, остановился передо мной. Я покраснел от безотчетной внутренней досады.

– Который тебе год? – спросил он меня.

– Девятый.

– А мне тринадцать. Ты умеешь читать?

– Умею.

– Писать?

– Учусь.

– Прочитай, пожалуйста, что на этой картине подписано, – я по церковному читать не умею.

Я встал на лавку и стал читать историю убиения Авеля.

– Ты любишь картины? – спросил меня князь.

– Люблю.

– Да ты, я думаю, не видал хороших.

– Нет, кроме этих не видал, да в церкви еще образа хороши.

– Ну, так приходи ко мне с отцом когда-нибудь в воскресенье, я покажу тебе – у меня много хороших картин. Все в немецких да в английских книгах. Ты, я думаю, по-немецки не учишься?

– Нет, кому меня учить?..

– Ты, я думаю, все гуляешь?

– Да, я все на реке да в поле...

– Приходи ко мне.

– Что это, князь, никак, с моим немцем разговорился? – сказал батюшка.

– Разве он немец? – сказал князь смеясь.

– Да, такой же белобрысый да жидконогий.

– Нет, он точно девочка! – сказал князь.

Уходя, князь ласково кивнул мне головой и повторил свое приходеи.

Настал какой-то праздник. Батюшка отправился к князю, который в самом деле любил его. Я сказал, что батюшка человек умный, суждения его здравы, и князь даже любил его грубоватую, простую манеру говорить. Батюшка пользовался его благосклонностью до такой степени, что имел позволение читать газеты и журналы, им получаемые, некоторые из знакомых князя почти завидовали батюшке.

Первый вопрос молодого князя был:

– А что же не с вами ваш немец?

– Я не смел, не слыхав от вашего папеньки позволения.

Князек упросил отца послать за мною. Старый князь не мог и не любил отказывать сыну.

– Посмотрим, что за немец, – сказал он. – Да это тот самый мальчик, что на клиросе пищит!

– Он, ваше сиятельство.

Можете вообразить, как удивился я посланному человеку, как рад я был посмотреть диковины богатого дома, и воображаю, какую смешную фигуру представлял я в своем длинном сюртуке в этих больших, роскошных комнатах!

Мне казалось, что я был в раю – столько очарования было для меня и в блестящих, пестрых стенах, увешанных кар-

тинами, и в больших окнах, завешенных белой кисеей, голубым и пунцовым штофом, которые слегка волновались от теплого летнего ветерка, вносящего в комнаты упоительный запах цветов! Все это обаяло меня чуть не до оцепенения.

– Пойдем, я покажу тебе картинки, – сказал маленький князь.

И он потащил меня в другую комнату, где представил моим взорам тысячу сокровищ для детского любопытства и воображения; потом мы побежали в сад; князь весело смеялся, все мне показывал, и добрая натура его наслаждалась тем удовольствием, которое выражалось во всем существе моем.

Когда я уходил, маленький князь поцеловал меня.

– Прощай, приходи... – сказал он. – Папа позволит.

– Да вот, ваше сиятельство, уж не долго ему шататься, – сказал батюшка, – скоро в семинарию отвезу, пора.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.